**Фрагменты философских текстов по теме:**

**«Сознание человека как предмет философского анализа»**

**Альфред Шюц. Структура повседневного мышления.**

*Повседневное мышление как система конструируемых типов*

Попытаемся показать, как бодрствующий взрослый человек воспринимает интерсубъективный мир повседневной жизни, на которую и в которой он действует как человек среди других людей. Этот мир существовал до нашего рождения, переживался и интерпретировался нашими предшественниками как мир организованный. Перед нами он предстает в нашем собственном переживании и интерпретации. Но любая интерпретация мира основана на предыдущем знакомстве с ним – нашем лично или передаваемом нам родителями и учителями. Этот опыт в форме ≪наличного знания≫ (knowledge at hand) выступает как схема, с которой мы соотносим все наши восприятия и переживания.

Такой опыт включает в себя представление о том, что мир, в котором мы живем, – это мир объектов с более или менее определенными качествами. Среди этих объектов мы движемся, испытываем их сопротивление и можем на них воздействовать. Но ≪ни один из них не воспринимается нами как изолированный, поскольку изначально связан с предшествующим опытом. Это и есть запас наличного знания, которое до поры до времени воспринимается как нечто само собой разумеющееся, хотя в любой момент оно и может быть поставлено под сомнение.

Несомненное предшествующее знание с самого начала дано нам как типичное, а это означает, что оно несет в себе открытый горизонт похожих будущих переживаний. Внешний мир, например, мы не воспринимаем как совокупность индивидуальных уникальных объектов, рассеянных в пространстве и времени. Мы видим горы, деревья, животных, людей. Я, может быть, никогда раньше не видел ирландского сеттера, но стоит мне на него взглянуть, и я знаю, что это – животное, точнее говоря, собака. В нем все знакомые черты и типичное поведение собаки, а не кошки, например. Можно, конечно, спросить: ≪Какой она породы?≫ Это означает, что отличие этой определенной собаки от всех других, мне известных, возникает и проблематизируется только благодаря сходству с несомненной типичной собакой, существующей в моем представлении.

Говоря на специфическом языке Гуссерля, чей анализ типического строения мира повседневной жизни мы суммировали, черты, выступающие в действительном восприятии объекта, апперцептивно переносятся на любой другой сходный объект, воспринимаемый лишь в его типичности. Действительный опыт подтверждает или не подтверждает мои ожидания типических соответствий. В случае подтверждения содержание типа обогащается; при этом тип разбивается на подтипы. С другой стороны, конкретный реальный объект обнаруживает свои индивидуальные характеристики, выступающие, тем не менее, в форме типичности.

Теперь – и это особенно важно – я могу считать этот, в его типичности воспринятый объект представителем общего типа, могу позволить себе сформулировать понятие типа но мне совсем не нужно думать о конкретной собаке как о представителе общего понятия ≪собака≫. В принципе, мой ирландский сеттер Ровер обнаруживает все характеристики, относящиеся, согласно моему предшествующему опыту, к типу собаки. Однако то общее, что он имеет с другими собаками, мне совсем не интересно. Для меня он Ровер – друг и компаньон; в этом его отличие от прочих ирландских сеттеров, с которыми его роднят определенные типичные характеристики внешности и поведения. Я – без особых на то причин – не склонен видеть в Ровере млекопитающее, животное, объект внешнего мира, хотя и знаю, что всем этим он также является.

Таким образом, в естественной установке повседневной жизни нас занимают лишь некоторые объекты, находящиеся в соотношении с другими, ранее воспринятыми, образующими поле самоочевидного, не подвергающегося сомнению опыта. Результат избирательной активности нашего сознания – выделение индивидуальных и типических, характеристик объектов. Вообще говоря, нам интересны лишь некоторые аспекты каждого особенного типизированного объекта. Утверждение, что данный объект S имеет характерное свойство p, в форме ≪S есть p≫- это эллиптическое суждение. Ибо S, взятое независимо от того, каким оно выглядит в моих глазах, представляет собой не только p, но также и q, и r, и многое другое. Полное Суждение должно читаться: ≪S есть, наряду с тем, что оно и q, и r, также и p≫. Если по отношению к элементу мира, считающемуся само собой разумеющимся, я утверждаю: ≪S есть p≫, я делаю так потому, что при наличных обстоятельствах S интересует меня в качестве p, а его бытие как q и r я оставляю без внимания как нерелевантное.

Только что использованные термины ≪интерес≫ и ≪релевантность≫ – это обозначения ряда сложных проблем, которые сейчас нам обсудить не удастся. Приходится ограничиться лишь несколькими замечаниями. Человек в любой момент его повседневной жизни находится в биографически детерминированной ситуации, т. е. в определенной им самим физической и социокультурной среде. В такой среде он занимает свою позицию. Это не только позиция в физическом пространстве и внешнем времени, не только статус и роль в рамках социальной системы, это также моральная и идеологическая≫ позиция. Сказать, что определение ситуации биографически детерминировано, значит сказать, что оно имеет свою историю. Это отложение всего предшествующего опыта, систематизированного в привычных формах наличного запаса знаний. Как таковое оно уникально, дано этому человеку и никому другому. Биографически детерминированная ситуация предполагает определенные возможности будущей практической или теоретической деятельности. Назовем ее ≪наличной целью≫ (purpose at hand). Эта цель как раз и определяет элементы, которые являются релевантными по отношению к ней. Система релевантностей в свою очередь определяет элементы, которые составят основу обобщающей типизации, и черты этих элементов, которые станут характерно типичными или, наоборот, уникальными и индивидуальными. Другими словами, она определяет, насколько далеко нам предстоит проникнуть в открытый горизонт типичности. Вспомним приведенный выше пример: изменение моей наличной цели и связанной с ней системой релевантностей, сдвиг ≪контекста≫, в котором выступает для меня S, может побудить меня обратиться к предикату q, а то, что S есть также и p –теперь для меня иррелевантно.

*Интерсубъективный характер повседневного знания и его импликация*

Анализируя первые конструкции повседневного мышления, мы вели себя так, будто мир – это мой, частный мир, игнорируя при этом тот факт, что с самого начала он является интерсубъективным миром культуры. Он интерсубъективен, так как мы живем среди других людей, нас связывает общность забот, труда, взаимопонимание. Он – мир культуры, ибо с самого начала повседневность предстает перед нами как смысловой универсум, совокупность значений, которые мы должны интерпретировать для того, чтобы обрести опору в этом мире, прийти к соглашению с ним. Однако эта совокупность значений – и в этом отличие царства культуры от царства природы – возникла и продолжает формироваться в человеческих действиях: наших собственных и других людей, современников и предшественников. Все объекты культуры (инструменты, символы, языковые системы, произведения искусства, социальные институты и т. д.) самим смыслом своим и происхождением указывают на деятельность человеческих субъектов. Поэтому мы всегда ощущаем историчность культуры, сталкиваясь с ней в различных традициях в. обычаях. Историчность – осадок деятельности, в которой история и раскрывается для нас. Поэтому я не могу понять объект культуры, не соотнеся его с деятельностью, благодаря которой он возник. Например, я не понимаю инструмент, не зная цели, для которой он предназначен; знак или символ – не зная, что он представляет в уме человека, использующего его; институт – не понимая, что он значит для людей, ориентирующих на него свое поведение. Здесь основа так называемого постулата субъективной интерпретации в социальных науках, о котором мы будем говорить позднее.

Теперь предстоит рассмотреть дополнительные конструкции, возникающие в повседневном мышлении, учитывая при этом не частный, но интерсубъективный мир, и то, что представления о нем – не только мое личное дело; они изначально интерсубъективны, социализированы.

Мы рассмотрим кратко три аспекта проблемы социализации знания: взаимность перспектив или структурную социализацию знания; социальное происхождение знания или его генетическую социализацию; социальное распределение знания.

*Взаимность перспектив*

В естественной установке повседневного мышления я считаю само собой разумеющимся, что другие, обладающие разумом люди существуют. Это значит, что объекты мира, в принципе, познаваемы для них либо актуально, либо потенциально. Это я знаю и принимаю без доказательств и сомнений. Но я также знаю и считаю само собой разумеющимся, что «тот же самый» объект должен означать нечто различное для меня и для любого другого человека. Это происходит потому, что: 1) я, будучи «здесь», нахожусь на иной дистанции от объектов и воспринимаю их в иной типичности, чем другой человек, который находится «там». По этой же причине некоторые объекты – вне пределов моей досягаемости (моего видения, слышания, манипулирования), но в пределах его досягаемости, и наоборот; 2) биографически детерминированные ситуации, моя и другого человека, соответствующие наличные цели и определяемые ими системы релевантностей (моя и другого) должны различаться, по крайней мере, до некоторой степени.

Повседневное мышление преодолевает различия индивидуальных перспектив, являющиеся следствием этих факторов, с помощью двух основных идеализации: 1) взаимозаменяемости точек зрения (я считаю само собой разумеющимся и предполагаю: другой считает так же, что, если я поменяюсь с ним местами и его «здесь» станет моим, я буду находиться на том же самом расстоянии от объектов и видеть их в той же самой типичности, что и он в настоящий момент. Более того, в пределах моей досягаемости будут находиться те же самые вещи, что и у него сейчас. Действительно также и обратное отношение); 2) совпадения системы релевантностей. До тех нор, пока не доказано обратное, я считаю само собой разумеющимся – и предполагаю, другой считает так же – что различия перспектив, порождаемые нашими уникальными биографическими ситуациями, несущественны с точки зрения наличных целей любого из нас. И что он, как и я, т. е. «мы» полагаем, что выбрали и интерпретировали актуально и потенциально общие объекты и их характеристики тем же самым или, по крайней мере «эмпирически тем же самым», т. е.: тем же самым, с точки зрения наших практических целей, образом.

Очевидно, что обе идеализации взаимозаменяемости точек зрения и совпадения релевантностей, вместе образующие общий тезис взаимных перспектив, представляют собой типизирующие конструкты объектов мышления, преодолевающих своеобразие объектов личного опыта моего или любого другого человека. Благодаря действию этих конструктов можно предполагать, что тот сектор мира, который считается само собой разумеющимся мною, воспринимается так же другим, моим партнером, более того, считается само собой разумеющимся «нами». Но это «мы» включает не только «тебя» и «меня», но «каждого, кто является одним из нас», т. е. каждого, чья система релевантностей по существу (в достаточной степени) совпадает с «твоей» и «моей». Таким образом, общий тезис взаимных перспектив ведет к формированию такого знания об объектах и их характеристиках (актуально познанных «мною» и потенциально познаваемых «тобой»), которое выступает как знание «каждого». Оно представляется объективным и анонимным, т. е. отделенным я независимым от индивидуальных определений ситуации со всеми их уникальными биографическими подробностями, актуальными и потенциальными наличными целями.

Термины «объект» и «характеристика объекта» мы должны толковать в самом широком смысле, подразумевая при этом объекты само собой разумеющегося знания. Тогда мы поймем, насколько важны интерсубъективные конструкты объектов мышления, возникающие в ходе структурной социализации знания Многих проблем, изученных, но недостаточно основательно проанализированных выдающимися обществоведами. То, что считается знакомым каждому, кто разделяет нашу систему релевантностей, – это образ жизни, рассматриваемый как естественный, нормальный, правильный членами «мы-группы». В качестве такового он является источником множества рецептов обращения с вещами и людьми в типичных ситуациях, он является источником привычек и «нравов», «традиционного поведения» в веберовском смысле, самоочевидных истин, бытующих в «мы-группе», несмотря на их противоречивость, короче, – всего «относительно естественного аспекта мира». Эти слова относятся и к конструктам типизированного знания, обладающего высокосоциализированной структурой, благодаря которой преодолевается специфика индивидуальных, само собой разумеющихся «представлений о мире. Но и это знание имеет свою историю. Оно – часть нашего «социального наследия», и это побуждает нас обратиться ко второму аспекту проблемы социализации знания, к его генетической структуре.

*Структура социального мира и его типизация в конструктах повседневного мышления*

Я – человеческое существо, родившееся и живущее в социальном мире с его повседневностью, воспринимаю его готовым, выстроенным до меня, открытым для моей интерпретации и действия, всегда соотнесенным с моей актуальной биографически детерминированной ситуацией. Только по отношению ко мне определенный вид связей с другими приобретает тот особый смысл, который я обозначаю словом «мы». Только по отношению к «нам», где центром являюсь я, другие выступают как «вы». А по отношению к «вам», в свою очередь соотносящимся со мною, выделяется третья сторона – «они».

Во временном измерении, по отношению ко мне в настоящий момент моей биографии, существуют «современники», с которыми я могу взаимодействовать, и «предшественники», на которых я воздействовать не в состоянии, но чьи прошлые поступки и их следствия могу интерпретировать; они же, в свою очередь, могут влиять на мои собственные действия. Наконец, есть «преемники», недоступные опыту, но на которых можно ориентироваться в своих действиях в более или менее пустом ожидании. В этих отношениях воплощены самые разнообразные формы интимности и анонимности, знакомости и чуждости, интенсивности и экстенсивности.

Здесь мы ограничимся взаимоотношением между современниками. Поскольку речь, идет о повседневности, допустим, как само собой разумеющееся, что один человек может понять другого человека, его действия и что он может общаться с другими, так как предполагает, что они понимают его собственное поведение. Мы также считаем само собой разумеющимся, что это взаимное понимание ограниченно, хотя его и достаточно, для многих практических целей.

Среди моих современников есть те, с кем я разделяю, пока длятся наши отношения, не только время, но и пространство. Ради простоты терминологии будем называть таких современников партнерами (consotiates), а отношения между ними – прямыми межличностными отношениями. Этот термин мы понимаем, однако, иначе, чем Ч. Кули и его последователи, обозначая им исключительно формальный аспект социальных отношений, в равной степени применимый и к интимной беседе друзей, и к случайной встрече чужих людей в железнодорожном купе. Общность пространства означает здесь, что некий аспект внешнего мира равно доступен для каждого партнера и содержит равно интересные релевантные для них объекты. Каждый видит тело другого, его жесты, походку, мимику и не просто воспринимает их как вещи или события во внешнем мире, но в физиогномическом значении, как свидетельства мыслей другого.

Временная общность – здесь имеется в виду не только внешнее (хронологическое), но также и внутреннее время – означает, что каждый партнер соучаствует в непосредственно текущей жизни другого, что он может схватывать в живом настоящем мысли другого шаг за шагом, по мере их смены. Происходят события, строятся планы на будущее, возникают надежды, беспокойство. Короче говоря, каждый из партнеров включается в биографию другого; они вместе взрослеют, старятся; они живут в чистом «мы-отношении».

В таком отношении, каким бы мимолетным и поверхностным оно ни было, другой воспринимается как уникальная индивидуальность, пусть и раскрывающаяся лишь фрагментарно, выявляя всего один из аспектов своей личности в уникальной биографической ситуации. Во всех других формах социальных отношений (и даже в отношениях между партнерами, пока речь идет о нераскрытых сторонах личности другого) «я» другого человека может улавливаться лишь с помощью «воображаемого внесения гипотетического явления смысла» (если прибегнуть к выражению Уайтхеда). Иначе говоря, мы понимаем другого, конструируя типичный способ деятельности, типичные, лежащие в его основе мотивы, установки типа личности. Другой и его действия, недоступные моему непосредственному наблюдению, объясняются при этом как простые примеры, образчики данного типа личности.

Мы не можем сравнивать здесь классификацию структур социального мира, типов действия и типов личности, необходимых для понимания «другого» и его поведения. Думая об отсутствующем друге А, я конструирую идеальный тип его личности и поведения на основе моего прошлого восприятия Л как партнера. Опуская письмо в почтовый ящик, я ожидаю, что незнакомые мне люди, именуемые почтовыми служащими, будут действовать типичным образом (не совсем мне понятным), в результате чего письмо дойдет до адресата в типично разумный срок. Даже не встречаясь с французом или немцем, я понимаю «почему Франция боится перевооружения Германии». Подчиняясь правилам английской грамматики, я следую принятому в обществе образцу поведения моих современников, говорящих по-английски. К ним я должен приспособить свое поведение, чтобы быть понятым. Наконец, любой артефакт, любой инструмент указывает на некоего безымянного человека, который создал его для того, чтобы другие безымянные люди воспользовались им для достижения типичных целей типичными средствами.

Это лишь несколько примеров, упорядоченных по степени усиления анонимности отношений между современниками, а тем самым и конструктов, используемых для понимания другого и его поведения. Очевидно, увеличение анонимности влечет за собой уменьшение полноты содержания. Чем более анонимен типизирующий конструкт, тем меньше отражена в нем уникальная индивидуальность описываемого лица, тем меньше сторон его личности и поведения типизируются как релевантные с точки зрения наличной цели, ради которой, собственно, и конструируется тип. Если мы выделим типы личности (субъективные) и типы действия (объективные), то можно сказать, что усиление анонимности конструктов ведет к преобладанию последних. В случае полной анонимизации люди считаются взаимозаменяемыми, а типы действия обозначают «чье бы то ни было» поведение, как оно предопределено конструктом.

Следовательно, можно сказать, что, за исключением чистого «мы-отношения» партнеров, нам никогда не удается «схватить» индивидуальность человека в его уникальной биографической ситуации. В конструктах повседневного мышления другой проявляется в лучшем случае как частичное «Я», и даже в чистом «мы-отношении» он обнаруживает лишь некоторые аспекты своей личности.

Идея эта важна во многих отношениях. Г. Зиммелю она помогает преодолеть дилемму индивидуального и коллективного сознания, столь отчетливо видевшуюся Э.Дюркгейму. Она положена в основу теории Ч. Кули о возникновении «Я» благодаря «зеркальному эффекту». Д. Г. Мида она привела к многообещающей концепции «обобщенного другой». Наконец, она была решающей в деле прояснения таких понятий, как «социальная функция», «социальная роль» и «рациональное действие».

Однако это еще не все, когда я конструирую «другого» как частную личность, исполнителя типичных ролей и функций, во взаимодействии с которым участвую я сам, параллельно развивается процесс самотипизации. В этом отношении я участвую не как целостная личность, а фрагментарно. Определяя роль «другого», я принимаю и свою роль. Типизируя поведение «другого», я типизирую и свое собственное, связанное с ним поведение. Я превращаюсь в пассажира, потребителя, налогоплательщика, читателя, зеваку и т. д. Эта самотипизация лежит в основе выделения У. Джемсом и Д. Г. Мидом элементов, обозначаемых терминами «I» и «Me» в целостности социальной личности.

Нужно, однако, помнить, что конструкты здравого смысла, используемые для типизации «другого» и для самотипизации, имеют по преимуществу социальное происхождение и социально санкционированы. В рамках «мы-группы» большинство личностных и поведенческих типов действия воспринимаются как нечто само собой разумеющееся (пока нет свидетельств об обратном) – как набор правил и предписаний, которые не опровергнуты до сих пор и, предполагается, не будут опровергнуты в будущем. Более того, типические конструкты часто институционализируются в качестве стандартов поведения, поддерживаемых обычаем и традицией, а иногда и особыми средствами так называемого социального контроля, например, законом.

*Шюц, А. Структура повседневного мышления / Альфред Шюц // Социологические исследования. – 1988. – № 2. – С. 129-137.*

**Зигмунд Фрейд. Психология масс и анализ человеческого Я.**

*I. Введение.*

Противоположность между индивидуальной психологией и социальной психологией (или психологией масс), кажущаяся на первый взгляд весьма значительной, оказывается при тщательном исследовании не столь резкой. Хотя индивидуальная психология построена на наблюдении над отдельным человеком и занимается исследованием тех путей, идя которыми индивид стремится получить удовлетворение своих влечений, однако при этом ей приходится лишь изредка, при определенных исключительных условиях, не принимать во внимание отношений этого индивида к другим индивидам. В душевной жизни одного человека другой всегда оценивается как идеал, как объект, как сообщник или как противник, и поэтому индивидуальная психология с самого начала является одновременно и социальной психологией в этом распространенном, но весьма правильном смысле.

*IV. Внушение и либидо.*

Мы исходим из основного факта, что индивид претерпевает внутри массы, вследствие ее влияния, изменение в своей душевной деятельности, которое часто бывает глубоким. Его аффективность чрезвычайно повышается; его интеллектуальная деятельность заметно понижается; оба процесса протекают, очевидно, в направлении сравнения с другими индивидами, составляющими массу; осуществление этих процессов может быть достигнуто лишь путем упразднения задержек, свойственных каждому индивиду, и отказом от специфических для него особенностей его влечений.

Мы слышали, что эти – часто нежелательные влияния – могут быть (по крайней мере отчасти) предотвращены путем высшей "организации" масс, но основному факту психологии масс, обоим положениям о повышенной аффективности и заторможенности мыслительной деятельности это нисколько не противоречит. Мы стремимся найти психологическое объяснение этому душевному изменению индивида.

Рациональные моменты, вроде вышеупомянутого устрашения индивида, следовательно, проявления его инстинкта самосохранения, безусловно, не покрывают наблюдаемых феноменов. Авторы -- социологи и психологи, изучавшие массу, всегда предлагали нам в качестве объяснения одно и то же, хотя и под разными терминами: волшебное слово внушение. У Тарда оно называлось подражанием, но мы должны признать, что прав автор, указывающий, что подражание подпадает под понятие внушения, что оно является его следствием. У Лебона все необычное в социальных явлениях сводится к двум факторам: к взаимному внушению индивидов и к престижу вождей.

Я сделаю попытку применить понятие либидо для объяснения психологии масс, понятие, оказавшее нам столько услуг при изучении психоневрозов. Либидо -- это выражение, взятое из учения об аффективности. Мы называем этим термином энергию таких влечений, которые имеют дело со всем тем, что можно охватить словом любовь. Эта энергия рассматривается, как количественная величина, хотя в настоящее время она еще не может быть измерена. Ядром понятия, называемого нами любовью, является то, что вообще называют любовью и что воспевают поэты, т. е. половая любовь, имеющая целью половое соединение. Но мы не отделяем от этого понятия всего того, что причастно к слову любовь: с одной стороны, себялюбие, с другой стороны -- любовь к родителям и к детям, дружба и всеобщее человеколюбие, а также преданность конкретным предметам и абстрактным идеям. Оправданием этому являются результаты психоаналитического исследования, доказавшего, что все эти стремления являются выражением одних и тех же влечений, направленных к половому соединению между различными полами, хотя в других случаях эти влечения могут не быть направлены на сексуальную цель или могут воздержаться от ее достижения, но при этом они всегда сохраняют достаточную часть своей первоначальной сущности, чтобы в достаточной мере сберечь свою идентичность (самопожертвование, стремление к близости).

Итак, мы полагаем, что язык создал в своих многообразных применениях слова "любовь" чрезвычайно правильную связь и что мы не можем сделать ничего лучшего, чем положить эту связь в основу наших научных рассуждений и описаний. Этим решением психоанализ вызвал бурю негодования, как будто он был виною преступного новшества. И тем не менее психоанализ не создал ничего оригинального этим "распространенным" пониманием любви. "Эрос" философа Платона целиком совпадает в своем происхождении, работе и отношении к половому акту с любовной силой, с либидо психоанализа, как указали Nachmаnsohn и Рfister каждый в отдельности, и когда апостол Павел прославляет в знаменитом письме к карфагенянам любовь больше всего, то он, вероятно, понимал ее в таком именно "распространенном" смысле. Из этого можно сделать только тот вывод, что люди не всегда понимают всерьез своих великих мыслителей, даже тогда, когда они якобы благоговеют перед ними.

Эти любовные влечения называются в психоанализе a potiori и по своему происхождению сексуальными влечениями. Многие "образованные" люди воспринимают это наименование как оскорбление; они отомстили за него, бросив психоанализу упрек в "пансексуализме". Кто считает сексуальность чем-то постыдным и унизительным для человеческой природы, тому вольно пользоваться более благозвучными выражениями эрос и эротика. Я сам мог бы поступить таким же образом и этим самым избавился бы от многих возражений; но я не сделал этого, потому что не хотел уступать малодушию. Неизвестно, к чему это привело бы; сначала уступают на словах, а потом мало-помалу и на деле. Я не нахожу никакой заслуги в том, чтобы стыдиться сексуальности; греческое слово эрос, которое должно смягчить позор, является, в конце концов, не чем иным, как переводом слова "любовь", и, наконец, кто может выжидать, тому нет нужды делать уступки.

Итак, мы попытаемся предположить, что любовные отношения (индифферентно говоря: эмоциональные привязанности) (Gefьhlsbindungen), составляют сущность массовой души. Вспомним, что об этом нет и речи у авторов. То, что соответствует любовным отношениям, скрыто, очевидно, за ширмой внушения. Два соображения подкрепляют наше предположение: во-первых, масса объединена, очевидно, какой-то силой. Но какой силе можно приписать это действие, кроме эроса, объединяющего все в мире? Во-вторых, получается такое впечатление, что индивид, отказываясь от своей оригинальности в массе и поддаваясь внушению со стороны других людей, делает это, потому, что у него существует потребность скорее находиться в согласии с ними, чем быть в противоречии с ними, следовательно, он делает это, быть может, "им в угоду" ("ihnen zuliebe")16.

*IX. Стадный инстинкт.*

Мы должны сказать себе, что многочисленные аффективные привязанности, отмеченные нами в массе, вполне достаточны для объяснения одной из ее характерных черт: недостатка самостоятельности и инициативы у индивида, однородности его реакций с реакциями всех других, его снижения, так сказать, до массового индивида. Но масса проявляет нечто большее, если мы рассмотрим ее как одно целое; черты слабости интеллектуальной деятельности, аффективной незаторможенности, неспособности к обуздыванию и к отсрочке, склонность к переходу границ в проявлении чувств и к полному переходу этих чувств в действия – все это и т. п., так ярко изложенное Лебоном, создает несомненную картину регрессии душевной деятельности до более ранней ступени, какую мы обычно находим у дикарей и у детей. Такая регрессия особенно характерна для обыкновенной массы, в то время как у высоко организованных искусственных масс она, как мы слышали, не может быть глубокой.

Таким образом у нас получается впечатление состояния, в котором отдельные эмоциальные побуждения и личный интеллектуальный акт индивида слишком слабы, чтобы проявиться отдельно и обязательно должны дожидаться подкрепления в виде однородного повторения со стороны других людей. Вспомним о том, сколько этих феноменов зависимости относится к нормальной конституции человеческого общества, как мало в нем имеется оригинальности и личного мужества, как сильно каждый человек находится во власти установок массовой души, проявляющейся в расовых особенностях, в сословных предрассудках, общественном мнении и т. д. Загадка суггестивного влияния увеличивается для нас утверждением того факта, что такое влияние оказывается не только вождем, но и каждым индивидом на другого индивида, и мы бросаем себе упрек в том, что мы односторонне подчеркнули отношение к вождю, не обратив никакого внимания на другой фактор взаимного внушения.

Trotter считает описанные душевные феномены массы производным стадного инстинкта (gregariousness), являющегося врожденным как для человека, так и для других видов животных.

Trotter приводит ряд влечений (или инстинктов), которые он считает первичными: инстинкт самосохранения, питания, половой инстинкт и стадный инстинкт. Последний должен часто противопоставляться другим инстинктам. Сознание виновности и чувство долга являются характерным достоянием gregarious animal. Из стадного инстинкта исходят, по мнению Trotter'a также и вытесняющие силы, которые психоанализ открыл в "Я", а следовательно и то сопротивление, с которым сталкивается врач при психоаналитическом лечении. Своим значением язык обязан своей способности дать людям возможность взаимного понимания в стаде, на нем покоится, главным образом, идентификация индивидов друг с другом.

Но против изложения Trotter'a можно с еще большим правом, чем против других, возразить, что оно обращает слишком мало внимания на роль вождя в массе, в то время как мы склонны к противоположному мнению, что сущность массы не может быть понята, если пренебречь вождем. Стадный инстинкт вообще не оставляет места вождю, вождь только случайно привходит в стадо, и в связи с этим стоит тот факт, что из этого инстинкта нет пути к потребности в божестве; стаду недостает пастуха. Но, кроме того, изложение Trotter'a можно психологически опровергнуть, т. е. можно по меньшей мере сделать вероятным, что стадное влечение поддается разложению, что оно не является первичным в том смысле, как инстинкт самосохранения и половой инстинкт.

Разумеется, нелегко проследить онтогенез стадного инстинкта. Страх маленького ребенка, оставленного наедине (Trotter толкует его уже как проявление инстинкта), легче допускает другое толкование. Он относится к матери, впоследствии к другим любимым лицам, и является выражением неисполненного желания, с которым ребенок не умеет ничего сделать, кроме превращения его в страх. Страх оставленного наедине с самим собою маленького ребенка не уляжется при виде любого человека "из стада"; наоборот, приближение такого "чужого человека" вызовет лишь страх. У ребенка долго не замечают ничего, что говорило бы о стадном инстинкте или о чувстве массы. Такое чувство образуется лишь в детских, где много детей, из их отношения к родителям, а именно: как начальная зависть, с которой старший ребенок встречает младшего. Старший ребенок хотел бы, конечно, ревниво вытеснить младшего, отдалить его от родителей, лишить его всех прав, но ввиду того, что этот ребенок, как и все последующие, одинаково любим родителями, старший ребенок, не имея возможности удержать свою враждебную установку без ущерба для себя, вынужден идентифицировать себя с другими детьми, и в детской среде возникает чувство массы или общности, получающее свое дальнейшее развитие в школе. Первым требованием этого реактивного образования является требование справедливости, одинакового обращения со всеми. Известно, как громко и настойчиво проявляется это требование в школе. Если я сам не могу быть любимчиком, то пусть, по крайней мере, никто не будет любимчиком. Можно было бы считать это превращение и замену ревности чувством массы в детской и в школе чем-то неправдоподобным, если бы тот же самый процесс вновь не наблюдался несколько позже при других соотношениях.

Дух общественности, esprit de corps и т. д., которые оказывают впоследствии свое действие в обществе, не скрывают своего происхождения из первоначальной зависти. Никто не должен иметь желания выдвинуться, каждый должен быть равен другому, все должны обладать одинаковыми ценностями. Социальная справедливость должна обозначать, что человек сам отказывается от многого для того, чтобы другие тоже должны были отказаться от этого, или – что то же самое – не могли требовать этого. Это требование равенства является корнем социальной совести и чувства долга. Неожиданным образом мы находим его в боязни инфекции у сифилитиков, которую мы поняли благодаря психоанализу. Боязнь этих несчастных является выражением их сопротивления против бессознательного желания распространить свою инфекцию на других. Ибо почему же они одни должны быть инфицированы и лишены очень многого, а другие – нет? Прекрасная притча о суде Соломона имеет это же самое ядро. Если у одной женщины умер ребенок, то другая тоже не должна иметь живого ребенка. По этому желанию можно было узнать потерпевшую.

Итак, социальное чувство покоится на превращении чувства, бывшего сначала враждебным, в положительно окрашенную привязанность, носящую характер идентификации. Поскольку мы до сих пор проследили этот процесс, оказывается, что это превращение совершается под влиянием обшей нежной привязанности к лицу, стоящему вне массы. Наш анализ идентификации кажется нам самим неисчерпывающим, но для нашей настоящей цели достаточно вернуться к тому положению, что масса требует строгого соблюдения равенства. Мы уже слышали при обсуждении обеих искусственных масс, церкви и армии, что их предпосылкой является одинаковая любовь вождя ко всем участникам массы. Но мы не забываем, что требование равенства, существующее в массе, относится только к ее отдельным членам и не касается вождя. Все участники массы должны быть равны между собою, но все они хотят, чтоб над ними властвовал вождь. Многие равные между собою, могущие идентифицироваться друг с другом, и один единственный, превосходящий их всех – такова ситуация, существующая в жизнеспособной массе. Следовательно, мы позволяем себе внести коррекцию в выражение Trotter'a что человек – стадное животное; он является скорее животным орды, участником орды, предводительствуемой вождем.

*XI. Ступень личности.*

Если, помня дополняющие друг друга описания психологии масс, данные различными авторами, сделать обзор душевной жизни современных людей, то можно растеряться перед ее сложностью и потерять надежду дать стройное описание ее. Каждый индивид является участником многих масс; он испытывает самые разнообразные привязанности, созданные идентификацией; он создает свой "Я"-идеал по различнейшим прототипам. Итак, каждый индивид участвует во многих массовых душах, в душе своей расы, сословия, религии, государства и т. д. и, кроме того, он до некоторой степени самостоятелен и оригинален. Эти стойкие и длительные массы в своих мало видоизменяющихся проявлениях бросаются в глаза меньше, чем быстро образующиеся непостоянные массы, по которым Лебон набросал блестящую характеристику массовой души, и в этих шумных эфемерных массах, как бы возвышающихся над другими массами, происходит чудо: бесследно (хотя бы только на короткое время) исчезает то, что мы назвали индивидуальностью. Мы поняли это чудо так, что индивид отказывается от своего идеала и заменяет его массовым идеалом, воплощающимся в вожде. Правильнее говоря, это чудо не во всех случаях одинаково велико. Отграничение "Я" от "Я"-идеала у многих индивидов не произведено еще достаточно резко; оба они еще легко совпадают; "Я" часто сохраняет для себя свою прежнюю нарцисическую самовлюбленность. Благодаря этому чрезвычайно облегчается выбор вождя. Часто он должен обладать лишь типичными свойствами этих индивидов в очень резком и чистом виде, он должен производить впечатление большой силы и либидинозной свободы; ему навстречу приходит потребность в сильном начальнике; она наделяет его сверхсилой, на которую он раньше, может быть, не претендовал бы. Другие индивиды, "Я"-идеал которых воплотился бы в его личности лишь при условии корректуры, увлекаются затем суггестивно, т. е. путем идентификации.

Мы замечаем, что предложенное нами объяснение либидинозной структуры массы сводится к отграничению "Я" от "Я"-идеала и к возможному, вследствие этого, двойному виду привязанности: идентификация и замена "Я"-идеала объектом.

Предположение такой ступени в "Я", как первый шаг анализа человеческого "Я", должно постепенно найти свое подтверждение в самых различных областях психологии. В своей статье "Zur Einfьhrung des Narzissmus" я собрал прежде всего весь патологический материал для обоснования выделения этой черты. Следует ожидать, что значение нарцисизма окажется гораздо большим при углублении в психологию психозов. Вспомним о том, что "Я" играет роль объекта в отношении к развивающемуся из него "Я"-идеалу, что, может быть, все взаимодействия, изученные нами в учении о неврозах между внешним объектом и совокупным "Я", повторяются на этой новой арене внутри "Я".

Я хочу проследить здесь лишь одно из всех возможных с этой точки зрения следствий и продолжить, таким образом, обсуждение проблемы, которую я оставил неразрешенной в другом месте. Каждая из душевных дифференцировок, с которыми мы познакомились, представляет новую трудность для душевной функции, повышает ее лабильность и может явиться исходным пунктом отказа от функции заболевания. Так, мы, родившись, сделали шаг от абсолютно самодовольного нарцисизма к восприятию изменчивого внешнего мира и к началу нахождения объекта; в связи с этим находится тот факт, что мы не можем находиться в этом состоянии в течение долгого времени, что мы периодически покидаем его и возвращаемся во сне к прежнему состоянию отсутствия раздражений и избежания объектов. Конечно, мы следуем при этом указанию внешнего мира, который временно лишает нас большей части действующих на нас раздражений путем периодической смены дня и ночи. Другой более важный для патологии пример не подлежит такому ограничению. В течение нашего развития мы разделили весь наш душевный мир на связное (kohдrent) "Я" и настоящее вне "Я" бессознательное вытесненное, и мы знаем, что стабильность этих новообразований подвержена постоянным потрясениям. В сновидении и в неврозе этот выключенный из нашего сознания материал стучится в охраняемые сопротивлением ворота, а в здоровом бодрствующем состоянии мы пользуемся особыми приемами для того, чтобы временно включить в наше "Я" вытесненный материал, обходя сопротивление и извлекая из этого удовольствие. Остроумие и юмор, а отчасти и комическое вообще, должны рассматриваться с этой точки зрения. Каждому знатоку психологии неврозов известны такие примеры, имеющие меньший масштаб, но я спешу вернуться к нашей цели.

Можно представить себе, что и отграничение "Я"-идеала от "Я" не может существовать долго и должно подвергаться по временам обратному развитию. При всех запретах и ограничениях, накладываемых на "Я", происходит, как правило, периодический прорыв запретного, как показывает институт праздников, являвшихся первоначально не чем иным как запрещенными законом эксцессами, и этому освобождению от запрета они обязаны и своим веселым характером. Сатурналии римлян и наш теперешний карнавал совпадают в этой существенной отличительной черте с празднествами первобытных людей, которые обычно сочетали с развратом различные нарушения священнейших запретов. А "Я"-идеал охватывает сумму всех ограничений, которым подчиняется "Я", и потому упразднение идеала должно было бы быть величайшим праздником для "Я", которое опять могло бы быть довольно собой.

Когда в "Я" что-нибудь совпадает с "Я"-идеалом, то всегда возникает ощущение триумфа. Чувство вины (и чувство малоценности) тоже могут быть поняты как разногласие между "Я" и "Я"-идеалом.

Trotter считает вытеснение производным стадного инстинкта. Это скорее та же мысль, выраженная несколько иначе, чем противоречие, когда я говорю в "Einfьhrung des Narzissmus": образование идеала является благоприятствующим условием для вытеснения.

Как известно, есть люди, настроение которых периодически колеблется от чрезмерной подавленности через некоторое среднее состояние до повышенного самочувствия, и действительно, эти колебания наступают в различной по величине амплитуде, от едва заметной до самой крайней; они врываются крайне мучительно или разрушающе в жизнь больного в виде меланхолии или мании. В типических случаях этого циклического расстройства внешние поводы как будто не играют решающей роли: из внутренних мотивов у этих больных находят то же, что у всех людей. Поэтому вошло в обыкновение трактовать эти случаи как непсихогенные. О других тождественных случаях циклического расстройства, которые легко могут быть сведены к душевным травмам, речь будет впереди.

Обоснование этих произвольных колебаний настроения нам, следовательно, неизвестно. У нас нет знания механизма смены меланхолии манией. Для этих больных могло бы иметь значение наше предположение о том, что их "Я"-идеал растворился в "Я", в то время как до того он был очень требователен к "Я".

Мы решительно избегаем неясностей: на основе нашего анализа "Я" несомненно, что у маниакального больного "Я" сливается с "Я"-идеалом, и человек радуется отсутствию задержек, опасений и самоупреков, находясь в настроении триумфа и самодовольства, ненарушаемом никакой самокритикой. Менее очевидно, но все же весьма вероятно, что страдание меланхолика является выражением резкого разногласия между обеими инстанциями "Я". В этом разногласии чрезмерно чувствительный идеал выражает свое беспощадное осуждение "Я" в бреде унижения и самоунижения. Нерешенным остается только вопрос, нужно ли искать причину этой перемены соотношения между "Я"-идеалом в выше постулированных периодических протестах против нового института или виною этому другие соотношения.

Переход в маниакальное состояние не является обязательной чертой в клиническом течении меланхолической депрессии. Есть простые однократные, а также периодически повторяющиеся формы меланхолии, которые никогда не переходят в маниакальное состояние. С другой стороны, существуют меланхолии, при которых повод явно играет этиологическую роль. Это -- случаи меланхолии, возникающие после потери любимого объекта, будь то смерть объекта или стечение обстоятельств, при которых происходит обратный отток либидо от объекта. Такая психогенная меланхолия также может перейти в манию, и этот цикл может повторяться многократно, так же как и при якобы произвольной меланхолии. Итак, соотношения очень неясны, тем более что до сих пор психоаналитическому исследованию были подвергнуты лишь немногие формы и случаи меланхолии37. Мы понимаем до сих пор только те случаи, в которых объект покидался в силу того, что он оказывался недостойным любви, затем "Я" опять воздвигало его путем идентификации, а "Я"-идеал строго осуждал его. Упреки и агрессивность в отношении к объекту проявляются как меланхолические самоупреки.

Точнее говоря: они скрываются за упреками против собственного "Я", придают им стойкость, прочность и неопровержимость, которыми отличаются самоупреки меланхолика.

Переход в манию может непосредственно следовать и за такой меланхолией, так что этот переход является признаком, независимым от других характерных черт клинической картины.

Я не вижу препятствий к тому, чтобы принять во внимание момент периодического протеста "Я" против "Я"-идеала для обоих видов меланхолии, как для психогенной, так и для произвольной. При произвольной меланхолии можно предположить, что "Я"-идеал относится особенно строго к свободному выявлению "Я", следствием чего является потом автоматически его временное упразднение. При психогенной меланхолии "Я" побуждается к протесту вследствие того, что его идеал плохо относится к нему, а это плохое отношение является результатом идентификации "Я" с отвергнутым объектом.

*Фрейд, З. Массовая психология и анализ человеческого «Я» / Зигмунд Фрейд // «Я» и «Оно» : Труды разных лет / З. Фрейд; пер. Л. Голлербах [и др.]. – Тбилиси: Мерани, 1991.*

**Алан Тьринг. Может ли машина мыслить?**

*I. Игра в имитацию.*

Я собираюсь рассмотреть вопрос «Могут ли машины мыслить?». Но для этого нужно сначала определить смысл терминов «машина» и «мыслить». Можно было бы построить эти определения так, чтобы они по возможности лучше отражали обычное употребление этих слов, но такой подход таит в себе некоторую опасность. Дело в том, что, если мы будем выяснять значение слов «машина» и «мыслить», исследуя, как эти слова употребляются обычно, нам трудно будет избежать того вывода, что значение этих слов и ответ на вопрос «могут ли машины мыслить?» следует искать путем статистического обследования наподобие анкетного опроса, проводимого институтом Гэллапа . Однако это нелепо. Вместо того, чтобы пытаться дать такого рода определения, я заменю наш вопрос другим, который тесно с ним связан и выражается словами с относительно четким смыслом.

Эта новая форма проблемы может быть описана с помощью игры, которую мы назовем «игрой в имитацию». В этой игре участвуют три человека: мужчина (A), женщина (В) и кто-нибудь задающий вопросы (С), которым может быть лицо любого пола. Задающий вопросы отделен от двух других участников игры стенами комнаты, в которой он находится. Цель игры для задающего вопросы состоит в том, чтобы определить, кто из двух других участников игры является мужчиной (A), а кто — женщиной (В). Он знает их под обозначениями X и Y и в конце игры говорит либо: «X есть А, и Y есть В», либо: «X есть В, и Y есть А». Ему разрешается задавать вопросы такого, например, рода:

С: «Попрошу X сообщить мне длину его (или ее) волос».

Допустим теперь, что в действительности X есть А. В таком случае А и должен давать ответ. Для А цель игры состоит в том, чтобы побудить С прийти к неверному заключению. Поэтому его ответ может быть, например, таким: «Мои волосы коротко острижены, а самые длинные пряди имеют около девяти дюймов в длину».

Чтобы задающий вопросы не мог определить по голосу, кто из двух других участников игры мужчина, а кто — женщина, ответы на вопросы следовало бы давать в письменном виде или, еще лучше, печатать на машинке. Идеальным случаем было бы телеграфное сообщение между комнатами, где находятся участники игры. Если же этого сделать нельзя, то ответы и вопросы может передавать какой-нибудь посредник. Цель игры для третьего игрока — женщины (В) — состоит в том, чтобы помочь задающему вопросы. Для нее, вероятно, лучшая стратегия — давать правдивые ответы. Она также может делать такие замечания, как: «Женщина — я, не слушайте его!», но этим она ничего не достигнет, так как мужчина тоже может делать подобные замечания.

Поставим теперь вопрос: «Что произойдет, если в этой игре вместо А будет участвовать машина?» Будет ли в этом случае задающий вопросы ошибаться столь же часто, как и в игре, где участниками являются только люди? Эти вопросы и заменят наш первоначальный вопрос «могут ли машины мыслить?».

*II. Критика новой постановки проблемы.*

Подобно тому как мы задаем вопрос: «В чем состоит ответ на проблему в ее новой форме?», можно спросить: «Заслуживает ли рассмотрения проблема в ее новой постановке?» Этот последний вопрос мы рассмотрим, не откладывая дела в долгий ящик, с тем чтобы в последующем уже не возвращаться к нему.

Новая постановка нашей проблемы имеет то преимущество, что позволяет провести четкое разграничение между физическими и умственными возможностями человека. Ни один инженер или химик не претендует на создание материала, который было бы невозможно отличить от человеческой кожи. Такое изобретение, быть может, когда-нибудь и будет сделано. Но даже допустив возможность создания материала, не отличимого от человеческой кожи, мы все же чувствуем, что вряд ли имеет смысл стараться придать «мыслящей машине» большее сходство с человеком, одевая ее в такую искусственную плоть. Форма, которую мы придали проблеме, отражает это обстоятельство в условии, не позволяющем задающему вопросы соприкасаться с другими участниками игры, видеть их или слышать их голоса. Некоторые другие преимущества введенного критерия можно показать, если привести образчики возможных вопросов и ответов. Например:

С: Напишите, пожалуйста, сонет на тему о мосте через реку Форт.

А: Увольте меня от этого. Мне никогда не приходилось писать стихи.

С: Прибавьте 34 957 к 70 764.

А (молчит около 30 секунд, затем дает ответ): 105 621.

С: Вы играете в шахматы?

А: Да.

С: У меня только король на е8 и других фигур нет. У Вас только король на е6 и ладья на h1. Как Вы сыграете?

А (после 15 секунд молчания): Лh8. Мат.

Нам кажется, что метод вопросов и ответов пригоден для того, чтобы охватить почти любую область человеческой деятельности, какую мы захотим ввести в рассмотрение. Мы не желаем ни ставить в вину машине ее неспособность блистать на конкурсах красоты, ни винить человека в том, что он терпит поражение в состязании с самолетом. Условия нашей игры делают эти недостатки несущественными. Отвечающие, если найдут целесообразным, могут хвастать своим обаянием, силой или храбростью, сколько им вздумается, но задающий вопросы не может требовать практических тому доказательств.

Вероятно, нашу игру можно подвергнуть критике на том основании, что в ней преимущества в значительной степени находятся на стороне машины. Если бы человек попытался притвориться машиной, то, очевидно, вид у него был бы весьма жалкий. Он сразу выдал бы себя медлительностью и неточностью при подсчетах. Кроме того, разве машина не может выполнять нечто такое, что следовало бы характеризовать как мышление, но что было бы весьма отлично от того, что делает человек? Это возражение очень веское. Но в ответ на него мы во всяком случае можем сказать, что если можно все-таки осуществить такую машину, которая будет удовлетворительно играть в имитацию, то относительно него особенно беспокоиться не следует.

Можно было бы заметить, что при «игре в имитацию» не исключена возможность того, что простое подражание поведению человека не окажется для машины наилучшей стратегией. Такой случай возможен, но я не думаю, чтобы он привел нас к чему-нибудь существенно новому. Во всяком случае никто не пытался исследовать теорию нашей игры в этом направлении, и мы будем считать, что наилучшая стратегия для машины состоит в том, чтобы давать ответы, которые в соответствующей обстановке дал бы человек.

III. Машины, привлекаемые к игре.

Вопрос, поставленный в разделе I, не станет совершенно точным до тех пор, пока мы не укажем, что именно следует понимать под словом «машина». Разумеется, нам бы хотелось, чтобы в игре можно было применять любой вид инженерной техники. Мы склонны также допустить возможность, что инженер или группа инженеров могут построить машину, которая будет работать, но удовлетворительного описания работы которой они не смогут дать, поскольку метод, которым они пользовались, был в основном экспериментальным. Наконец, мы хотели бы исключить из категории машин людей, рожденных обычным образом. Трудно построить определение так, чтобы оно удовлетворяло этим трем условиям. Можно, например, потребовать, чтобы все конструкторы машины были одного пола; в действительности, однако, этого недостаточно, так как, по-видимому, можно вырастить законченный индивидуум из одной-единственной клетки, взятой (например) из кожи человека. Сделать это было бы подвигом биологической техники, заслуживающим самой высокой похвалы, но мы не склонны рассматривать этот случай как «построение мыслящей машины».

Сказанное наводит нас на мысль отказаться от требования, согласно которому в игре следует допускать любой вид техники. Мы еще больше склоняемся к этой мысли в силу того обстоятельства, что наш интерес к «мыслящим машинам» возник благодаря машине особого рода, обычно называемой «электронной вычислительной машиной» или «цифровой вычислительной машиной». Поэтому мы разрешаем принимать участие в нашей игре только цифровым вычислительным машинам.

На первый взгляд это ограничение кажется весьма сильным. Я постараюсь показать, что в действительности дело обстоит не так. Для этого мне придется дать краткий обзор природы и свойств этих вычислительных машин.

Можно также сказать, что отождествление машин с цифровыми вычислительными машинами — равно как и наш критерий «мышления» — должно быть признано совершенно неудовлетворительным, если (вопреки моему убеждению) окажется, что цифровые вычислительные машины не в состоянии хорошо играть в имитацию.

Целый ряд вычислительных машин уже находится в действии, и естественно возникает вопрос: «А почему бы нам, вместо того чтобы сомневаться в правильности наших рассуждений, не поставить эксперимент? Удовлетворить условиям игры было бы нетрудно. В качестве задающих вопросы можно было бы использовать много различных людей, и полученные статистические данные показали бы, как часто задающим вопросы удавалось прийти к правильному заключению».

Коротко на этот вопрос можно ответить так: нас интересует не то, будут ли все цифровые вычислительные машины хорошо играть в имитацию, и не то, будут ли хорошо играть в эту игру те вычислительные машины, которыми мы располагаем в настоящее время; вопрос заключается в том, существуют ли воображаемые вычислительные машины, которые могли бы играть хорошо. Но это только краткий ответ. Ниже мы рассмотрим этот вопрос в несколько ином свете.

IV. Цифровые вычислительные машины.

То, что мы имеем в виду, говоря о цифровых вычислительных машинах, можно пояснить следующим образом. Предполагается, что эти машины могут выполнять любую операцию, которую мог бы выполнить человек-вычислитель. Мы считаем, что вычислитель придерживается определенных, раз навсегда заданных правил и не имеет права ни в чем отступать от них. Мы можем также считать, что эти правила собраны в книге, которая заменяется другой, когда вычислитель приступает к новой работе. У человека-вычислителя имеется также неограниченный запас бумаги, на которой он производит вычисления. Кроме того, он может выполнять операции сложения и умножения с помощью арифмометра — это несущественно.

Если данное выше пояснение принять за определение, то возникает угроза того, что наше рассуждение окажется движущимся в замкнутом круге. Чтобы избежать этой опасности, мы приведем перечень тех средств, с помощью которых достигается требуемый эффект). Можно считать, что цифровая вычислительная машина состоит из трех частей:

1) запоминающего устройства,

2) исполнительного устройства,

3) контролирующего устройства.

Запоминающее устройство — это склад информации. Оно соответствует бумаге, имеющейся у человека-вычислителя, независимо от того, является ли эта бумага той, на которой производятся выкладки, или той, на которой напечатана книга правил. Поскольку человек-вычислитель некоторые расчеты проводит в уме, часть запоминающего устройства машины будет соответствовать памяти вычислителя.

Исполнительное устройство — это часть машины, выполняющая разнообразные индивидуальные операции, из которых состоит вычисление. Характер этих операций изменяется от машины к машине. Обычно можно проделывать весьма громоздкие операции, например: «Умножить 3 540 675 445 на 7 076 345 687», однако на некоторых машинах можно выполнять только очень простые операции, вроде таких: «написать 0».

Мы уже упоминали, что имеющаяся у вычислителя «книга правил» заменяется в машине некоторой частью запоминающего устройства, которая в этом случае называется «таблицей команд». Обязанность контролирующего устройства — следить за тем, чтобы эти команды выполнялись безошибочно и в правильном порядке. Контролирующее устройство сконструировано так, что это происходит непременно.

Информация, хранящаяся в запоминающем устройстве, разбивается на небольшие части, которые распределяются по ячейкам памяти. Например, для некоторых машин такая ячейка может состоять из десяти десятичных цифр. Тем ячейкам, в которых хранится различная информация, в некотором определенном порядке приписывают номера. Типичная команда может гласить:

«Число, хранящееся в ячейке 6809, прибавить к числу, хранящемуся в ячейке 4302, а результат поместить в ту ячейку, где хранилось последнее из чисел».

Нет необходимости говорить о том, что если все это выразить на русском языке, то машина не выполнит такую команду. Более удобно было бы закодировать эту команду в виде, например, числа 6809430217. Здесь 17 говорит о том, какую из различных операций, которые можно выполнять с помощью данной машины, следует проделать с числами, хранящимися в указанных ячейках. В данном случае имеется в виду описанная выше операция, т. е. операция «число... прибавить к числу...». Следует заметить, что сама команда занимает 10 цифр и, таким образом, заполняет одну ячейку памяти, что весьма удобно. Обычно контролирующее устройство выбирает необходимые команды в том порядке, в котором они расположены, но иногда могут встречаться и такие команды:

«Теперь выполнить команду, хранящуюся в ячейке 5606, и продолжать оттуда»

или же:

«Если ячейка 4505 содержит 0, выполнить команду, хранящуюся в ячейке 6707, в противном случае продолжать идти по порядку».

Команды этих последних типов очень важны, так как они позволяют повторять снова и снова некоторую последовательность операций до тех пор, пока не будет выполнено определенное условие, причем для повторения данной последовательности операций не приходится прибегать к новым командам. Машина просто выполняет вновь и вновь одни и те же команды. Воспользуемся аналогией из повседневной жизни. Допустим, что мама хочет, чтобы Томми по дороге в школу заходил каждое утро к сапожнику для того чтобы справиться, не готовы ли ее туфли. Она может каждое утро снова и снова просить его об этом. Но она может также раз и навсегда повесить в прихожей записку, которую Томми будет видеть, уходя в школу, и которая будет напоминать ему о том, чтобы он зашел за туфлями. Когда Томми принесет туфли от сапожника, мама должна разорвать записку.

Читатель должен считать твердо установленным, что цифровые вычислительные машины можно строить на основе тех принципов, о которых мы рассказали выше, и что их действительно строят, придерживаясь этих принципов. Ему должно быть ясно, что цифровые вычислительные машины могут в действительности весьма точно подражать действиям человека-вычислителя.

Разумеется, описанная нами книга правил, которой пользуется вычислитель, является всего лишь удобной фикцией. На самом деле настоящие вычислители помнят, что они должны делать. Если мы хотим построить машину, подражающую действиям человекавычислителя при выполнении некоторой сложной операции, то следует спросить последнего, как он выполняет эту операцию, и ответ представить в виде таблицы команд.

Составление таблицы команд обычно называют «программированием». «Запрограммировать выполнение машиной операции А» — значит ввести в машину подходящую таблицу команд, следуя которым машина может выполнить операцию А.

Интересной разновидностью цифровых вычислительных машин являются «цифровые вычислительные машины, со случайным элементом». Такие машины имеют команды, содержащие бросание игральной кости или какой-нибудь эквивалентный электронный процесс. Одной из таких команд может быть, например, следующая: «бросить кость и полученное при бросании число поместить в ячейку 1000». Иногда говорят, что такие машины обладают свободой воли (хотя лично я не стал бы употреблять такое выражение). Установить наличие «случайного элемента» в машине путем наблюдений за ее действием обычно оказывается невозможным, так как если сделать, например, выбор команды зависимым от последовательности цифр в десятичном разложении числа π, то результат получится совершенно аналогичный.

 Все существующие в действительности цифровые вычислительные машины обладают лишь конечной памятью. Однако теоретически нетрудно представить себе машину с неограниченной памятью. Разумеется, в любое данное время возможно использование только конечной части запоминающего устройства. Точно так же, запоминающее устройство, которое можно физически осуществить, всегда имеет конечные размеры, но мы можем представлять дело так, что по мере надобности к нему пристраиваются все новые и новые части. Такие вычислительные машины представляют особый теоретический интерес, и впредь мы будем их называть машинами с бесконечной емкостью памяти.

Сама идея цифровой вычислительной машины отнюдь не является новой. Чарлз Бэббедж , занимавший с 1828 по 1839 г. Люкасовскую кафедру по математике в Кембридже , разработал проект вычислительного устройства, названного им Аналитической машиной; создание ее, однако, так и не удалось завершить. Хотя у Бэббеджа были все основные идеи, существенные для создания такого механизма, его машина не имела перспектив. Скорость вычислений, которую позволила бы достичь машина Бэббеджа, оказалась бы, разумеется, выше скорости, достигаемой человеком, однако-она была бы почти в 100 раз меньше, чем у той вычислительной машины, которая в настоящее время работает в Манчестере и которая является одной из самых медленных современных машин. Запоминающее устройство в машине Бэббеджа было задумано как чисто механическое, с использованием карт и зубчатых колес.

То, что Аналитическая машина Бэббеджа была задумана как чисто механический аппарат, помогает нам избавиться от одного предрассудка. Часто придают значение тому обстоятельству, что современные цифровые машины являются электрическими устройствами и что нервная система также является таковым. Но поскольку машина Бэббеджа не была электрическим аппаратом и поскольку в известном смысле все цифровые вычислительные машины эквивалентны, становится ясно, что использование электричества в этом случае не может иметь теоретического значения. Естественно, что там, где требуется быстрая передача сигналов, обычно появляется электричество; поэтому неудивительно, что мы встречаем его в обоих указанных случаях. Для нервной системы химические явления играют, по крайней мере, столь же важную роль, что и электрические. В некоторых же вычислительных машинах запоминающее устройство в основном акустическое. Отсюда ясно, что сходство между нервной системой и цифровыми вычислительными машинами, состоящее в том, что в обоих случаях используется электричество, сводится лишь к весьма поверхностной аналогии. Если мы действительно хотим открыть глубокие связи, нам скорее следует искать сходство в математических моделях функционирования нервной системы и цифровых вычислительных машин.

*VI. Противоположные точки зрения по основному вопросу.*

Теперь мы можем считать, что основные понятия нами выяснены, и перейти к рассмотрению вопроса «могут ли машины мыслить?» и его варианта, изложенного в конце предыдущего раздела. Вместе с тем мы не можем отказаться и от первоначальной формы вопроса, так как по поводу равноценности замены одной формы вопроса другой мнения могут расходиться и в любом случае необходимо выслушать то, что было бы сказано в этой связи.

Читателю будет легче разобраться в этой дискуссии, если я сначала разъясню свои собственные убеждения. Рассмотрим сперва более точную форму вопроса. Я уверен, что лет через пятьдесят станет возможным программировать работу машин с емкостью памяти около 109 так, чтобы они могли играть в имитацию настолько успешно, что шансы среднего человека установить присутствие машины через пять минут после того, как он начнет задавать вопросы, не поднимались бы выше 70%. Первоначальный вопрос «могут ли машины мыслить?» я считаю слишком неосмысленным, чтобы он заслуживал рассмотрения. Тем не менее я убежден, что к концу нашего века употребление слов и мнения, разделяемые большинством образованных людей, изменятся настолько, что можно будет говорить о мыслящих машинах, не боясь, что тебя поймут неправильно. Более того, я считаю вредным скрывать такие убеждения. Широко распространенное представление о том, что ученые с неуклонной последовательностью переходят от одного вполне установленного факта к другому, не менее хорошо установленному факту, не давая увлечь себя никакому непроверенному предположению, в корне ошибочно. Не будет никакого ущерба от того, что мы ясно осознаем, что является доказанным фактом, а чтó предположением. Догадки очень важны, ибо они подсказывают направления, полезные для исследований.

Теперь я перехожу к рассмотрению мнений, противоположных моему собственному.

*1) Теологическое возражение*

«Мышление есть свойство бессмертной души человека. Бог дал бессмертную душу каждому мужчине и каждой женщине, но не дал души никакому другому животному или машинам. Следовательно, ни животное, ни машина не могут мыслить».

Я не могу согласиться ни с чем из того, что было только что сказано, и попробую возразить, пользуясь теологическими же терминами. Я счел бы данное возражение более убедительным, если бы животные были отнесены в один класс с людьми, ибо, на мой взгляд, между типичным одушевленным и типичным неодушевленным предметами имеется большее различие, чем между человеком и другими животными. Произвольный характер этой ортодоксальной точки зрения станет еще яснее, если мы рассмотрим, в каком свете она может представиться человеку, исповедующему какую-нибудь другую религию. Как, например, христиане отнесутся к точке зрения мусульман, считающих, что у женщин нет души? Но оставим этот вопрос и обратимся к основному возражению. Мне кажется, что из приведенного выше аргумента со ссылкою на душу у человека следует серьезное ограничение всесильности всемогущего. Пусть даже существуют определенные вещи, которые бог не может выполнить,— например, сделать так, чтобы единица оказалась равной двум; но кто же из верующих не согласился бы с тем, что бог волен вселить душу в слона, если найдет, что слон этого заслуживает? Мы можем искать выход в предположении, что бог пользуется своей силой лишь в сочетании с мутациями совершенствующими мозг настолько, что последний оказывается в состоянии удовлетворить требованиям души, которую бог желает вселить в слона. Но точно так же можно рассуждать и в случае машин. Это рассуждение может показаться отличным лишь потому, что в случае машин его труднее «переварить». По сути дела это означает, что мы считаем весьма маловероятным, чтобы бог счел обстоятельства подходящими для того, чтобы дать душу машине, т. е. речь идет в действительности о других аргументах, которые обсуждаются в остальной части статьи. Пытаясь построить мыслящие машины, мы поступаем по отношению к богу не более непочтительно, узурпируя его способность создавать души, чем мы делаем это, производя потомство; в обоих случаях мы являемся лишь орудиями его воли и производим лишь убежища для душ, которые творит опятьтаки бог. Все это, однако, пустые рассуждения. В пользу чего бы ни приводили такого рода теологические доводы, они не производят на меня особого впечатления. Однако в старину такие аргументы находили весьма убедительными. Во времена Галилея полагали, что такие церковные тексты, как: «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день», (Книга Иисуса Навина, глава X, стих XIII) и «Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она в веки и веки» (псалмы Давида, псалом 103, стих 5) — в достаточной мере опровергали теорию Коперника. В наше время такого рода доказательство представляется беспочвенным. Но, когда современный уровень знаний еще не был достигнут, подобные доводы производили совсем другое впечатление.

*2) Возражение со «страусовой» точки зрения*

«Последствия машинного мышления были бы слишком ужасны. Будем надеяться и верить, что машины не могут мыслить».

Это возражение редко выражают в столь открытой форме, как это сделано выше. Но оно звучит убедительно для большинства из тех, кому оно вообще приходит в голову. Мы склонны верить, что человек в интеллектуальном отношении стоит выше всей остальной природы. Лучше всего, если бы удалось доказать, что человек необходимо является самым совершенным существом, ибо в таком случае он может не бояться потерять свое доминирующее положение. Ясно, что популярность теологического возражения связана именно с этим чувством. Это чувство, вероятно, особенно сильно у людей интеллигентных, так как они ценят силу мышления более высоко, чем остальные люди, и более склонны основывать свою веру в превосходство человека на этой способности.

Я не считаю, что это возражение является достаточно существенным для того, чтобы требовалось какое-либо опровержение. Утешение здесь было бы более подходящим; не предложить ли искать его в учении о переселении душ?

4*) Возражение с точки зрения сознания*

Это возражение особенно ярко выражено в выступлении профессора Джефферсона на Листеровских чтениях за 1949 год, откуда я и привожу цитату. «До тех пор, пока машина не сможет написать сонет или сочинить музыкальное произведение, побуждаемая к тому собственными мыслями и эмоциями, а не за счет случайного совпадения символов, мы не можем согласиться с тем, что она равносильна мозгу, т. е. что она может не только написать эти вещи, ной понять то, что ею написано. Ни один механизм не может чувствовать (а не просто искусственно сигналить, для чего требуется достаточно несложное устройство) радость от своих успехов, горе от постигших неудач, удовольствие от лести, огорчение из-за совершенной ошибки, не может быть очарованным противоположным полом, не может сердиться или быть удрученным, если ему не удается добиться желаемого».

Это рассуждение, по-видимому, означает отрицание нашего критерия. Согласно самой крайней форме этого взгляда, единственный способ, с помощью которого можно удостовериться в том, что машина может мыслить, состоит в том, чтобы стать машиной и осознавать процесс собственного мышления. Свои переживания можно было бы потом описать другим, но, конечно, подобное сообщение никого бы не удовлетворило. Точно так же, если следовать этому взгляду, то окажется, что единственный способ убедиться в том, что данный человек действительно мыслит, состоит в том, чтобы стать именно этим человеком. Фактически эта точка зрения является солипсистской. Быть может, подобные воззрения весьма логичны, но если исходить из них, то обмен идеями становится весьма затруднительным. Согласно этой точке зрения, А обязан думать, что «А мыслит, а В нет», в то время как В убежден в том, что «В мыслит, а А нет». Вместо того, чтобы постоянно спорить по этому вопросу, обычно принимают вежливое соглашение о том, что мыслят все.

Я уверен, что профессор Джефферсон отнюдь не желает стоять на этой крайней солипсистской точке зрения. Вероятно, он весьма охотно принял бы в качестве критерия «игру в имитацию». Эта игра (если игрок В не участвует) нередко применяется на практике под названием viva voce для того, чтобы установить, понял ли действительно данный человек некоторую вещь или он заучил нечто «как попугай».

Вот отрывок из такой игры.

З а д а ю щ и й в о п р о с ы . Не находите ли Вы, что в первой строке Вашего сонета: «Сравню ль тебя я с летним днем» выражение «с весенним днем» звучало бы лучше?

О т в е ч а ю щ и й . Оно нарушало бы размер стиха.

З а д а ю щ и й в о п р о с ы . А если сказать «с зимним днем»? С размером здесь все обстоит благополучно.

О т в е ч а ю щ и й . Это так, но никто не захочет, чтобы его сравнивали с зимним днем.

З а д а ю щ и й в о п р о с ы . А разве мистер Пиквик не напоминает Вам рождество?

О т в е ч а ю щ и й . Некоторым образом, да.

З а д а ю щ и й в о п р о с ы . Но рождество — зимний день, и я не думаю, чтобы мистер Пиквик имел что-нибудь против этого сравнения.

О т в е ч а ю щ и й . Я не думаю, что Вы говорите все это всерьез. Когда говорят о зимнем дне, имеют в виду обычный зимний день, а не какой-то особенный, вроде рождества.

И так далее. Что бы сказал профессор Джефферсон, если бы машина, пишущая сонеты, могла отвечать примерно так, как это было в приведенном выше отрывке из viva voce? Не знаю, стал ли бы он рассматривать ответы машины лишь как «просто искусственную сигнализацию». Если бы ее ответы были столь же связными и удовлетворительными по содержанию, как в приведенном выше отрывке, я не думаю, чтобы профессор Джефферсон охарактеризовал это как дело, выполнить которое может «достаточно несложное устройство». Эту фразу из его выступления следует, по-видимому, относить к таким случаям, когда в машине имеется, скажем, граммофонная пластинка с записью сонета в чьем-либо исполнении, а также механизм, с помощью которого эту запись можно время от времени включать.

Короче говоря, я считаю, что большинство из тех, кто поддерживает возражение с точки зрения сознания , скорее откажутся от своих взглядов, чем признают солипсистскую точку зрения. В таком случае они, по-видимому, охотно примут наш критерий.

Мне не хотелось бы создавать впечатление, будто я считаю, что в сознании нет ничего загадочного. Например, неудача наших попыток локализовать сознание похожа на парадокс. Но я вовсе не думаю, что загадки, связанные с сознанием, непременно должны быть разъяснены прежде, чем мы окажемся в состоянии ответить на вопрос, рассматриваемый в настоящей статье.

*Тьюринг А. Может ли машина мыслить? – М.: ФМЛ, 1960.*